

Глава 3

Война

Заграничная Латвия. 22 июня.
Прорыв на Варшаву. Эвакуация, Берсут.
В Чистополе. Познание сталинской России.
В ГУЛАГе. Антисоветское воспитание.
Возвращение в Москву.
«Коммунист» Пастернак.
Первое столкновение с властью.
Сталин, нацизм и Вторая мировая война.
7 миллионов и 25

В мае 1941 года я впервые попал на Запад, в Европу, хотя формально не выезжал за пределы СССР. Родители взяли меня с собой в Латвию, за год до того присоединенную к «союзу республик свободных». Они решили поехать в Кемери под Ригой, где была какая-то замечательная грязевая лечебница или курорт, чтобы отец мог подлечить ревматизм, которым он страдал издавна.

Мне шел тринадцатый год. То путешествие послужило толчком для моего повзреления. У меня словно глаза открылись на окружающую жизнь. Я оказался в совершенно другом мире. Помню общее ощущение покоя, красоты, чистоты, уюта. Даже природа изменилась: стала ярче, чище, красивее и опять же — спокойнее. Особенно был я потрясен, когда на первой же латвийской станции на крыше вокзала (!) увидел большое гнездо и в нем — красавца аиста. Я тогда в первый и последний раз в жизни видел аиста на воле, не в зоопарке. Он стоял в своем гнезде, как и полагается, на одной ноге, подогнув другую.

Пока поезд шел по Латвии, я не уходил от окна в тамбуре. Ближе к Риге рядом со мной оказался какой-то пассажир, который тоже не отрывал глаз от пронесившихся мимо пейзажей, поселков, станций. В какой-то момент я услышал, что он что-то бормочет. Я прислушался и понял, что он ругается про себя, тихо матерится что-то насчет того, что он вот столько уже лет в партии — тра-та-та! — и даже не подозревал, что может быть такое на свете — тра-та-тра-та-та! — и почему же у нас все не так — мать вашу так!? И тому подобное. Меня, пацана, он, видимо, не боялся.

Много позже, оказавшись в эмиграции в Германии, я понял, что меня и других советских больше всего поражало в Латвии. В России люди везде и всячески портят природу, и в экологическом смысле, и в эстетическом. Любые постройки уродуют вид, деревенские ли, городские, и уж тем более — промышленные. И все в России к этому сызмальства так привыкли, что и не представляют, что может быть иначе. А вот в Латвии (перед войной), как и в Западной Европе (где я оказался после войны), люди землю и природу украшают. Я нигде не видел, чтобы деревни, отдельные дома или даже промышленные строения портили бы вид. Такие там дома, такая у них расцветка и архитектура, такая расстановка. Это трудно себе представить, это надо видеть. И в Латвии я впервые увидел подобное...

По Риге я ходил с широко открытыми глазами — пожирал новизну впечатлений. Теперь, после того как я пожил на Западе, я вижу, что уровень жизни, точнее благоустроенности,

был в Латвии тогда выше, чем сейчас даже в Германии или Швейцарии — самых благоустроенных странах Запада, которые мне пришлось повидать. Запомнилось удивительное качество и разнообразие сервиса. В магазинах, например, вас в фойе встречали служащие и спрашивали, что бы вы хотели приобрести, и сразу говорили, есть ли у них такой товар. И если товар имелся, вели вас в соответствующий отдел. Служащий сам нес все купленные вами вещи, сам сдавал их в кассу, упаковывал и предлагал, если надо, доставить товар домой, в гостиницу. В больших универмагах продавцы помещали ваши покупки на ленты трансмиссии или в пневматические трубы — и они оказывались внизу, в кассе. В городе были магазины верхней одежды, в которых она хранилась в раскроенном виде, и ее сшивали для покупателей по их меркам. В одном из таких магазинов родители купили мне первый в моей жизни костюм.

Было много кафе, в которых предлагалось множество видов бутербродов, и их можно было брать в неограниченном количестве за одну и ту же плату. О качестве товаров и продуктов говорить не приходится.

Добросовестность и благожелательность. Отец выбрал себе в одном из магазинов полуготовой одежды костюм, оплатил и должен был через какое-то время его получить. Но разразилась война, отец звонит в магазин, чтобы узнать, нельзя ли побыстрее получить костюм? И ему говорят, что он может прийти прямо сейчас, в воскресенье! Мы все приходим в магазин, и нас встречают заведующий отделом и портной, который уже с утра сшивал костюм. Последняя примерка, последняя подгонка — и мы уходим с костюмом!

Все средние и крупные магазины, рестораны и кафе к весне

41-го года были уже национализированы, но продолжали работать как раньше. Во многих из них шефами были прежние хозяева. А маленькие кафе и магазинчики вообще оставались в частных руках. Дело в том, что в Латвии и во всей Прибалтике проводилась политика невмешательства советских властей в привычный ход местной жизни. В отличие от Западной Украины и Белоруссии, которые были первыми присоединены к СССР и где без промедления вводились советские порядки, а «буржуазные» кадры изгонялись.

В Риге 41-го года я встречал различные по отношению к Советскому Союзу настроения. У пожилых людей и студенчества часто можно было почувствовать подспудное недоброжелательство, и в то же время я с удивлением увидел однажды в Риге демонстрацию школьников. Все они были в красных пионерских галстуках и с энтузиазмом пели советские песни. Мы в Москве уже давно стеснялись носить пионерские галстуки вне школы, снимали их, выходя на улицу. В первые дни войны чувство солидарности с советскими людьми проявляли и рабочие. Но после войны, после массовых депортаций латышей в Сибирь и других советских прелестей настроение населения заметно изменилось в антисоветском направлении. Отец с матерью вскоре после войны побывали в Латвии и ощутили эту перемену.

Почему мои родители решились отправиться в Латвию в мае 41-го, когда уже чувствовалось приближение войны с Германией? Помню, как к нам домой пришел Александр Фадеев, с которым отец находился в дружеских отношениях и пригласил специально, чтобы выяснить, не опасно ли ехать? Но Фадеев успокоил отца, что до августа ничего не случится.

Тогда я единственный раз видел Фадеева. И он произвел на меня сильное впечатление. Запомнились голубые глаза, крупное, простое, открытое лицо интеллигента из народа, высокая, статная фигура и мягкая, даже застенчивая улыбка.

Незадолго до отъезда я, находясь на стадионе Динамо, на футболе, впервые в жизни увидел немецкий самолет. Он взлетел, видимо, с Тушинского аэродрома и шел очень низко — пролетел прямо над стадионом. На фюзеляже и плоскостях жирно чернели кресты и свастика. Над стадионом он немного даже снизился, словно хотел посмотреть на игру. Стадион притих, все на трибунах оторвались от футбола и проводили самолет глазами.

Поезд, в котором мы ехали в Ригу, был полон военных, и мама вздыхала — ей не нравилась эта ситуация. За неделю до начала войны, в субботу 14 июня, в рижских газетах было напечатано распоряжение начальника противовоздушной обороны Риги — привести ПВО города в состояние боевой готовности и обклеивать стекла окон бумажными лентами. В понедельник такие ленты уже появились в продаже, и через пару-тройку дней все стекла в городе крест-накрест были обклеены белыми лентами. Мама говорила, что надо паковать чемоданы, но отец и сосед-военный по гостинице в Кемери, с которым отец подружился, успокаивали, что это, наверное, только проверка боеготовности, тренировка...

Тогда же, в ночь с субботы на воскресенье, в Риге прошла операция по аресту и вывозу из города неблагонадежных элементов по спискам НКВД. На другое утро официантки ресторана нашей гостиницы вышли на работу с заплаканными глазами, и от них мы узнали, что ночью по всему городу разъезжали крытые грузовики с солдатами НКВД, которые арестовывали людей, поднимая их с постели, и увозили куда-то на этих же грузовиках. Потом стало известно — в Сибирь! Это были «потенциальные антисоветские, буржуазные элементы», которых до поры не трогали, но брали, оказывается, на заметку. Но и после этого по-прежнему никто из советских постояльцев гостиницы, кроме моей мамы, не верил, что война на пороге.

Я теперь часто вспоминаю ту ситуацию как пример прискорбного человеческого свойства не верить в очевидную неизбежность события, если оно слишком страшное, катастрофическое. Слепота принимает в таких случаях патологический характер какого-то гипнотического ступора. Люди в этом состоянии оказываются неспособны предпринимать самые элементарные меры для своей защиты.

В воскресенье 22 июня мы собрались идти гулять по взморью, по знаменитому, бесподобному Рижскому взморью — дюны тонкого белого песка, заросли пышно цветущей сирени и за ней — кряжистый, опять же на дюнах, сосновый лес. С нами должен был пойти и наш сосед-военный. Утром, до завтрака, я вышел сделать небольшую пробежку по гостиничному парку (я уже тогда начал увлекаться спортом) и с удивлением увидел возле водонапорной башни двух солдат в необычной зеленой форме, с винтовками с примкнутыми штыками. Я хотел было пробежать мимо башни, но они остановили меня и строго велели повернуть обратно. Потом стало известно, что это были срочно мобилизованные латвийские рабочие, которых одели в форму знаменитых «латышских стрелков». Значит и форма была уже припасена. «Стрелки» заменили старую полицию, которой советские власти не доверяли.

Но тогда я еще ничего не понял, и мы с отцом, одевшись по-походному, постучались в номер соседа, с которым договорились идти на прогулку. Сосед встретил нас с мрачным лицом и, ничего не говоря, пригласил в комнату к включенному радиоприемнику, из которого несся странный, хриплый и злобный голос, говорившей о том, что немецкая армия идет освободить Россию от гнета жидов и коммунистов, которые совершенно замучили русское крестьянство. «Война!» — сказал сосед. Голос принадлежал, очевидно, русскому эмигранту на немецкой службе. Я взглянул на отца и вздрогнул: настолько изменилось его лицо.

Вспоминая потом это время, я поражался, как легковерны были советские люди. Ведь очень многие сразу поверили в правильность сталинского сближения с Германией в 1939 году. И это после года 1938-го, после двухлетней гражданской войны в Испании, когда вся страна горела солидарностью с испанскими республиканцами и ненавистью к фашистам — немецким, итальянским, испанским. Очень многие стремились тогда поехать добровольцами в Испанию, и участники той войны воспринимались как герои. Торжественно принимали вывозимых из Испании детей погибших родителей, жадно ловили новости о войне, победы республиканцев становились праздниками, поражения ввергали в скорбь. Поэты слагали стихи. «Я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать...» Репортажи Михаила Кольцова, Ильи Эренбурга зачитывались, что называется, до дыр.

И вдруг — встреча Молотова с Риббентропом, гитлеровским министром иностранных дел, торжественное заключение пакта о ненападении, который подавался и воспринимался как союзный договор, ан-шлагги в «Правде»: «Народы, спаянные кровью!» (русские и немцы, значит), «Война спровоцирована англо-французскими империалистами», «Гитлер — борец за мир!».

Начинается дележ Польши. Все жадно изучают напечатанную в газетах карту с демаркационной линией. Напомню, что первая линия раздела, предложенная немцами, проходила по Висле и доходила до Варшавы, но вскоре была опубликована новая карта с разделением Польши по границам Западной Украины и Белоруссии. Сталин хотел выглядеть благородно: это не аннексия, а воссоединение! мы лишь возвращаем отторгнутые в 1920 году польскими панями западные земли Украины и Белоруссии.

И все приветствуют вступление Красной армии в Польшу и начинают болеть за немецкие войска в их противостоянии с Англией и Францией. Запомнилось, как один наш дальний родственник (и еврей!) возмущался, о чем себе думают англичане и французы (речь шла о создании ими корпуса генерала Вейгана в помощь «белофиннам»), ведь стоит появиться на Западном фронте нескольким нашим дивизиям, и им, французам и англичанам, капут. (В 41-м этот человек пошел добровольцем на фронт и вскоре погиб, как и большинство добровольцев.)

А уж какой был праздник, когда Красная армия вошла в Прибалтику! Запомнился каламбур: «Каунас уже у нас!». Об Испании, о фашистских зверствах, о разрушенной Гернике — забыто начисто, словно ничего этого и не было! Военно-патриотические настроения овладели интеллигенцией.

Помню только одно любопытное исключение. На просмотре в Доме кино документального фильма о финской войне я сидел рядом с супругами Пастернаками, точнее, рядом с женой поэта Зинаидой, и когда начались финальные кадры о победе Красной армии, я услышал, как она проворчала: «Ну конечно, наши обязательно побеждают!...» И я возмутился про себя: «Так ведь Красная армия действительно победила!».

Того, что победа эта была очень кислая, что наша армия продемонстрировала в той войне удивительную слабость, что и стало главным аргументом для Гитлера в его решении напасть на Россию, я тогда, естественно, не знал.

Двадцать первого июня, узнав о войне, родители спешно собрали вещи и вызвали такси, чтобы ехать в Ригу. Когда такси подъехало, я с удивлением увидел, что шофер одет в зеленую форму «латышских стрелков». Но удивление переросло в изумление, когда таксист, доставив

нас в Ригу, к латвийскому отделению Союза писателей, отказался взять деньги за работу. «В такой день я не могу с советских людей брать деньги!» — сказал он торжественно.

В Риге улицы также патрулировались «латышскими стрелками», рабочими в зеленой форме. Полиции совсем не было видно. Когда начинались воздушные тревоги, зеленые «стрелки» сурово покрикивали на прохожих, чтобы они побыстрее уходили в убежища.

В Союзе писателей отец хотел связаться с чиновником, принимавшим нас по приезду в Ригу, но сотрудники Союза, опустив глаза, сказали, что этого человека нет в городе. Мы поняли, что он попал

в число неблагонадежных и сейчас держит путь в восточном направлении.

Вопрос с отъездом в Москву оказался проблемным, и мы еще примерно неделю просидели в Риге, живя в гостинице.

Через день-два после начала войны в местном отделении Союза писателей мы стали свидетелями удивительной картины. В фойе была вывешена карта военных действий, и на ней красными флажками отмечалась линия фронта. Сведения поступали из официальных военных инстанций. И вот, придя в Союз, мы увидели возле карты возмущенную толпу писателей и сотрудников Союза. Флажки вдоль литовско-немецкой границы были слегка отодвинуты вглубь Литвы, но на польско-немецкой границе клином глубоко врезались в немецкую зону и упирались в Варшаву.

Все поздравляли друг друга: «Прорыв к Варшаве! Ну вот, а мы испугались. Все в порядке, как и следовало ожидать». И мы уже не волновались, когда вечером завывли сирены воздушной тревоги.

Но налеты и воздушные тревоги случались все чаще и становились продолжительней. Чтобы пройти небольшое расстояние, надо было тратить порой несколько часов: только давался отбой, и мы выходили из укрытия, из какого-нибудь подъезда, проходили сотню-другую метров, как опять начинали выть сирены. Похоже, на немцев не действовал советский прорыв под Варшавой... Ночами город сотрясался от стрельбы зенитных орудий, в небе не затухал фейерверк разрывов и трассирующих пуль. Иногда раздавались мощные, глухие взрывы и вздрагивала земля. Это уже падали где-то немецкие бомбы! Латыши с удивительным бесстрашием и хладнокровием относились к налетам. В первые день-два они еще быстро покидали улицы, когда начинали выть сирены, а потом стали стремиться пройти как можно дальше в нужном им направлении, и «латышские стрелки» чуть ли не прикладами загоняли людей в подъезды. Ночью в бомбоубежища почти никто не шел, и мы тоже оставались в гостинице, любовались разрывами зенитных снарядов и трассами пулеметных очередей. В доме напротив в открытых окнах, на подоконниках, свесив ноги наружу, сидели латыши и глазели на небо. Некоторые сидели в исподнем. Мне очень хотелось увидеть взрыв, падение немецкого самолета, но ни разу не пришлось.

Когда мы вернулись в Москву и там в начале июля впервые началась ночная воздушная тревога, которая, как сообщили наутро газеты, оказалась учебной (сталинские штучки), я был поражен, увидев панику, охватившую москвичей. Под нашим «домом писателей» в Лаврушинском переулке, что напротив Третьяковской галереи, было единственное в округе бомбоубежище, и туда устремились толпы взъерошенных, кричащих людей, с детьми, с узелками. В дверях, конечно, возникла давка. По рижской привычке мы в бомбоубежище тогда не пошли и впрямь не ходили. «Лучше под бомбой погибнуть, чем в давке», — говорил отец.

А в Риге в июне мы однажды увидели немецкие бомбардировщики воочию. Во время обычной дневной воздушной тревоги мы с отцом зашли под карниз ближайшего подъезда и стали ждать отбоя. Но вдруг над городом, над нами, с Запада, то есть со стороны фронта, на бреющем полете пронесся тупорылый советский истребитель (такие тогда были на вооружении), за ним — другой. Они явно «героически» удирали с поля боя! Стало тревожно... Там, откуда прилетели истребители, залаяли зенитки, застучали крупнокалиберные пулеметы, и вскоре — никогда этого не забыть! — из-за домов, на сравнительно небольшой высоте стали выплывать черные, с крестами и свастиками немецкие бомбардировщики. Мне казалось, что я вижу, как поблескивают стекла их кабин! Шли клиньями, в строгом порядке, один клин, другой, третий...

И вдруг под самолетами начали раскрываться белые колпачки. «Парашотисты!» — закричал я. «Нет, — сказал отец. — Это разрывы зенитных снарядов...» И почему-то все разрывы, словно нарочно, ложились то ниже, то выше самолетов. После войны, изучая зенитную артиллерию на военных занятиях в МГУ, я узнал, что при той технике ведения огня, которая применялась Красной армией, сбить самолет наши зенитки могли только случайно.

Вскоре там, куда улетели немецкие бомбардировщики, стали раздаваться тяжелые взрывы, и из-за домов начало подниматься огромное, в полнеба, облако пыли и дыма. Немцы бомбили что-то на окраине города. Земля поднималась и опускалась при каждом взрыве, и я боялся, как бы дома не начали рушиться.

Вы спросите, а что же случилось с победными флажками на карте, под Варшавой? Да карта исчезла! В Союзе писателей глухо шептали, что немцы взяли прорыв в клинья.

В семидесятых годах в эмиграции появилась книга беглого чекиста Суворова, в которой он доказывал, что Сталин первым стал готовиться к войне с Германией и первым начал войну. Ему возражали, развернулась дискуссия. Не знаю, кто тут прав, но события, которым я был свидетелем: переполненные военными поезда, приведение за неделю до войны ПВО Риги в боевую готовность, «зачистка» Риги от неблагоденных латышей и флажки на карте под Варшавой — все это говорит по крайней мере о том, что официальное утверждение о неожиданности нападения Германии на СССР — примитивная советская ложь, призванная оправдать сокрушительное

поражение Красной армии и всего сталинского режима в первый год войны.

Между прочим, отец рассказал мне, что весной 41-го года на традиционном приеме в Кремле выпускников офицерских училищ Сталин неожиданно для всех поднял тост не «за мир во всем мире», как он это делал раньше, а за «приближающуюся эпоху революционных войн». Не думаю, что у отца была ложная информация.

Мы выехали из Риги примерно через неделю после начала войны. В Москве отец узнал, что уже на следующий день в Риге московский поезд прямо на вокзале перед отправлением был обстрелян немецкими истребителями, и людям пришлось спасаться от пуль под перронами и вагонами. Были убитые и раненые. А еще через несколько дней немецкие войска взяли Двинск (Даугавпилс) и перерезали железную дорогу на Москву.

В июле родители присоединили меня к коллективу детского лагеря Литфонда Союза писателей, и вместе с ним я отправился в эвакуацию, в Татарскую АССР, в поселок Берсут на Каме, немного выше Чистополя. Добирались мы туда весьма романтично: на поезде до Казани, а

далее — на пароходе до Берсута. Из-за анархии, царившей в стране в первые месяцы войны, на пароходе нас кормили черным хлебом с черной икрой! Среди эвакуируемых писательских детей выделялся Тимур Гайдар, отец нашего главного реформатора Егора Гайдара. Он был одним из самых старших и носил имя героя популярного перед войной фильма «Тимур и его команда», снятого по повести его отца, Аркадия Гайдара. То есть отец дал имя своему герою по имени сына, что было не очень-то уж умно, так как обрекало сына на шальную славу. И эта слава явно вскружила ему голову, хотя он мало походил на своего кинематографического тезку, бегавшего этаким маленьким фюрером в коротких штанишках с красным галстуком. Тимур реальный щеголял в брюках клеш и тельняшке, имел сочные красные губы жуира и норовил держать под руками сразу двух девушек, сущий Жора из Одессы. Впоследствии он, как известно, стал спецкором «Правды» на фронтах борьбы с американским империализмом и дослужился до звания контр-адмирала, сухопутного, от прессы. Не случайно, видимо, с юности имел тягу к тельняшкам!

Берсут оказался маленьким, в несколько домов, поселком на берегу Камы. Нас разместили неподалеку, в пустующем доме отдыха, расположенном на краю высоченного утеса. От дома отдыха вниз к реке шла деревянная лестница, с площадками и скамейками для отдыха. На холмах, подступавших к реке, простирались бескрайние заповедные сосновые леса. Место прекрасней трудно было себе представить.

Кроме Тимура Гайдара среди приметных обитателей интерната я помню Стасика Нейгауза, сына Генриха Нейгауза, и приемного сына Пастернака. Стас играл нам на пианино «Гоп со смычком» и прочие «классические» вещи. Как я понимал, он не хотел тогда становиться музыкантом, считал себя недостаточно талантливым. Настоящим талантом он почитал своего старшего брата, умершего перед войной от туберкулеза. В Берсуте находились также братья Ивановы, Кома (Вячеслав) и Миша, сын Исаака Бабеля, усыновленный Всеволодом Ивановым, когда последний женился на бывшей жене Бабеля. Среди девочек — дочь поэта Сельвинского, Татьяна, Тата. Был приемный сын Василия Гроссмана — Михаил, трагически погибший в 42-м году в Чистополе. Было также и несколько «иностранных» детей. Дочь Бертольда Брехта, Кони Вольф — сын немецко-еврейского писателя Фридриха Вольфа, потом ставшего известным в ГДР режиссером. (Его брат «Миша», Маркус Вольф, был всемирно знаменитым шефом «Штази».) Находился в интернате и Алексей Баталов, с которым я пересекался еще в детстве, ходил в один детский сад, так как жили мы в одном доме (в первом доме писателей в Нащокинском переулке на Арбате).

Время в Берсуте мы проводили замечательно — купались, играли в футбол, катались на лодках, ухаживали за нашими девочками, писательскими дочками.

Управляющим «Интерната Литфонда», как стало называться наше сообщество, был некто Хохлов, служивший до войны директором дома отдыха Литфонда в Ялте, а ранее — боцманом на черно-

морском флоте. Он очень любил по-отечески обнимать великовозрастных писательских дочек, особенно когда был в подпитии. И великовозрастные ребята ему однажды отомстили: вывесили на дверях его кабинета бумагу с текстом: «Берегитесь, пис. дочки (писательские дочки): здесь Х.У.И.! (Хохлов, управляющий интернатом)». Писательские были все-таки сынки. Хохлов объявил нам: «Узнаю, кто написал — морду набью!». Но, слава богу, не узнал. Тогда я познакомился и с еще одним важным сокращением: «жёписа» — жена писателя. (Это сокра-

щение широко вошло затем в язык «творческой интеллигенции» для обозначения характерного типа писательских жен, стоявших на страже престижа своих великих мужей, идентифицирующих себя с ними.)

Но беспечное наше времяпрепровождение в Берсуде однажды перебила встреча, напомнившая нам о действительности. Мы как-то лежали у реки, загорали, а вдоль по берегу, по тропинке шел старик с посохом в руках, согбенный, седой, с котомкой за плечами. Поравнявшись с нами, остановился, спросил, откуда мы. Узнав, что из Москвы, вдруг сказал:

— Да, война! Немец наступает. Я, ребятки, на германской воевал. Я немца знаю. Тогда у него на плечах французы с англичанами висели, и то он нам прикурить давал, а теперь — один на нас навалился. Не выдюжить нам. Погибла Россия!

И пошел дальше.

В один из дней августа, ближе к вечеру, на горизонте, там, куда текла Кама, запылали голубые зарницы. Такое было впечатление, что за горизонтом шла грандиозная битва. Я больше никогда не видел таких зарниц. Было немножко жутко — что-то апокалипсическое... Все в лагере, и взрослые, и дети, вышли на утес над Камой и, как замороженные, смотрели на «сражение» зарниц. Ночью разразилась сильная гроза и ливень. Утром небо снова расчистилось, но воздух похолодал и впервые запахло осенью. А днем из Чистополя пришел пароход, на котором приплыли два представителя Литфонда и привезли распоряжение — всему лагерю сворачиваться. Младшие группы должны были отправиться в Чистополь, а старшие — в закамские деревни помогать убирать урожай.

Через несколько дней мы, ребята и девушки старшей группы, рано утром переправились на катере на другой берег Камы, погрузили пожитки на подводы, высланные к нам из местного колхоза, и пошли за ними луговой дорогой к месту назначения.

Запомнились названия деревень, в которых мы жили и работали: Большой Толкиш и Малый Толкиш — татарские названия. Берсудская лафа резко оборвалась. Настали для нас, барчуков, трудные времена: тяжелая работа в поле, на огородах, ночевки в пустующих школах на соломе, без электрического света, и — не виданное нами питание: каша из какого-то крупнорубленого зерна с лампадным маслом и молоко с грубым черным хлебом. От недостатка витаминов мы покрылись язвами — инфуземами.

Поздней осенью нас из колхоза перебросили в Чистополь, куда вскоре эвакуировались и многие писатели, по возрасту не подлежавшие мобилизации, или их семьи. Приехали и мои родители. И в Чистополе я уже хорошо понял, что это такое — эвакуация и война, Россия советская и сталинский режим.

Жизнь в глухой провинции потрясала своей примитивностью и неустроенностью. Тогда я впервые осознал, что Москва по сравнению с остальной страной — иное государство, неизмеримо более цивилизованное и благополучное. В Чистополе мы попали в XIX век, если не дальше. Старые, деревянные, осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. За водой мне приходилось ходить с ведрами и коромыслом к колодцу за несколько кварталов от дома, в любую погоду, да еще обратно дорога шла в гору, зимой — часто обледенелая. Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками: баночка или бутылка с грубым растительным маслом (которым каша сдабривалась) и фитиль из веревки. Спичек не было, огонь добывали древним способом:

с помощью зазубренной железяки — кресала, кремня и трута (жженой тряпки). Чиркали железкой по кремню, искры падали на трут, он начинал тлеть, и его раздували до огня.

В промежутках между работой в колхозах работали на лесосплаве. Старшие ребята зацепляли стволы канатами, а младшие, и я в их числе, тащили под уздцы лошадей, которые вытягивали стволы из воды. За нами, «наездниками», эти лошади закреплялись. На них мы через город приезжали на место работы и уезжали. Седел не было. Набивали на задницах кровавые мозоли. Причем если на работу лошади еле плелись, то с работы в предвкушении кормежки норовили переходить в галоп, при котором мы подвергались риску оказаться на земле.

Железная дорога к Чистополю не подходила, связь с миром шла в основном по воде, по Каме, и когда она замерзала, город оказывался отрезанным от мира на долгую зиму — на четыре-пять месяцев. Транспорт в городе — лошадь с телегой. Причем лошадь колхозная: грязная, тощая, едва передвигающая ноги.

С зимы 41-го начали мы уже и подголаживать, пришлось отведать котлет из картофельных очисток. Только на вторую военную зиму писательскую колонию стали подкармливать литературными пайками.

Этот ужас отсталости и запустения на фоне прежней столичной жизни и пропаганды о сказочных успехах сталинской индустриализации приводил в тяжелое недоумение. А я еще незадолго до того побывал в Латвии!

Местное население относилось к нам, эвакуированным, с открытой враждебностью. Нас называли «выковыренными». «Вот погодите, — можно было услышать на улице, на базаре, — немцы придут, мы вам покажем!» (или: они вам покажут!). Татары выражались еще определеннее: «Будем всех русских резать!». Когда осенью 42-го года пронесся слух, что немцы высадили десант под Казанью, властям пришлось ввести в городе комендантский час и пустить по улицам патрули, чтобы действительно не начали резать. В газетах в это время писали: «Весь народ, как один человек, поднялся на защиту родины!».

Сильное беспокойство вызывали слухи о дезертирах, бежавших с фронта. В поисках дезертиров в дома по ночам стали врывать патрули НКВД. Пришли и к нам, и, несмотря на документы отца, устроили обыск, заглядывали под кровати.

Мы, дети и подростки, конечно, легче переносили все эти негативные впечатления, но взрослые страдали, особенно женщины, жившие в эвакуации без мужей. Было несколько случаев самоубийств женщин. Недалеко от нас в городке Елабуга, еще более захолустном, чем Чистополь, в августе 41-го повесилась Марина Цветаева.

Все взрослые рвались назад — в Москву. Лучше уж погибнуть под бомбами, чем вести такую жизнь! Москвой грезили. Если в кино показывали Москву, в зале раздавались стоны и плач. На людей, получавших разрешение на поездку в Москву, были такие случаи, смотрели, как на счастливых.

И страшнее всего было, конечно, евреям. Ведь до Сталинграда никто не мог знать, чем кончится война, и в случае победы Германии евреям трудно было рассчитывать на спасение. Они могли ждать расправы с любой стороны, не только с немецкой. Мысли об этом изредка прорывались и у моих родителей. Сейчас иные патриоты утверждают, что «все советские люди с самого начала были уверены в победе», но это или ложь, или обман памяти.

В эвакуации я впервые узнал и о том, что такое колхозное сельское хозяйство. Каждое лето и осень интернат посылали в деревню помогать колхозникам. Мы увидели, как гибнет урожай на корню, как его разворовывают сами колхозники, и с какой неохотой они работают.

Но более всего угнетало немецкое наступление. Ведь пропаганда перед войной внушала, что Красная армия непобедима, никогда не допустит врага на родную землю, что передовой, прогрессивный строй всегда побеждает строй реакционный. Социализм в СССР был самым передовым строем, а нацизм — самым реакционным, и вдруг — разгром!

И в тылу почти все думали только о том, как бы получить «броню» (от армии) для себя или своих близких — не жаждали защищать «родину и социализм». Об этом открыто говорили, подделывали метрики детям — омолаживали их.

На операции «омоложения» попался один из ребят нашего интерната — некто Слава Бобунов, «Бобун» — здоровенный и циничный тип. Его мать за взятку обновила сыну метрику, сделав его года на три моложе, а он был уже тогда, как шкаф, и в военкомате заподозрили обман, заставили Бобунова пойти на медкомиссию. Врачи после исследования его половых органов дали заключение, что он старше своей метрики, после чего Слава с матерью исчезли из Чистополя. Вообще это была потрясающая семейка. Они жили в лаврушинском доме писателей. Бобунов-отец, совершенно серая личность, числился писателем, хотя никто не знал, что он написал. Одновременно он был чем-то вроде прораба на стройке дома писателей и получил в нем квартиру, причем в самом почетном, третьем подъезде. Мраморный вход, лифтерша, квартиры многокомнатные с несколькими балконами. Писателей даже по подъездам сортировали! В третьем подъезде жили К. Федин, И. Эренбург,

К. Тренев, В. Вишневский, В. Катаев, Н. Погодин, В. Иванов. Пастернак жил, между прочим, в четвертом, рядовом подъезде. Потом выяснилось, что у Бобунова замечательная библиотека, но говорили, что пополнял он ее за счет библиотек арестованных писателей, и в конце концов стало ясно, что он из писателей, что называется, в штатском. И от фронта он сына уберег, устроив его адъютантом к какому-то генералу.

Но вернусь в Чистополь. В городе во главе молодежных групп стояли наиболее физически сильные и смелые парни, неформальные, как сейчас говорят, лидеры — «короли», как их звали тогда. Такой король был и во главе всей молодежи города. В парке все перед ними расступались, с почтением смотрели на него и слушали, на танцплощадке девушки считали за честь, если король приглашал их на танец. Взрослые ребята говорили, что и от особого его внимания девушки не могли отказываться, а их кавалеры, если таковые имелись, должны были терпеть и гордиться! Король был и у нас в школе — один из учеников десятого класса. Очень симпатичный и благородный был, между прочим, парень. Когда я подрался с местным учеником моего класса, король его подбадривал, но сам не вступал и другим местным не позволил. И вот однажды в коридоре школы после занятий вспыхнула, уж не знаю из-за чего, ссора между королем и его одноклассником из нашего интерната Гальпериним, евреем. Неожиданно ссора перешла в драку. У меня сердце в пятки ушло. А Гальперин, тихий, интеллигентный парень, стал бесстрашно, я бы даже сказал — спокойно, наносить удары королю, и тот оказался на полу! Встал, признал себя побежденным и пошел с Гальпериним из школы. Мы все тронулись следом. И я услышал, как король сказал, попросил своего противника и на нас обернулся: «Учителям ничего не говорить! Идет?». Гальперин с готовностью согласился. И все.

Но меня эта драка поразила. В городе, в котором местное население с трудом терпело «выковыренных», где, похоже, и милиции не существовало, какой-то смиренный московский еврей проявляет такое мужество, почти героизм! Я так и не смог тогда этого понять. Лишь после «шестидневной войны» в Израиле осознал, что таких евреев, как Гальперин, было, ви-

димо, немало в еврейской диаспоре в Европе; и именно такие люди первыми эмигрировали в Палестину и обеспечили фантастические победы Израиля над превосходящими силами свирепых врагов.

Однако как появляются такие люди среди нацменьшинства, веками живущего в унижении, мне и до сих пор не совсем ясно. Хотя мне-то меньше всего надо было бы удивляться: ведь мой отец был из той же породы! Но он свои подвиги совершал до моего появления на свет, и рассказы о них так не впечатляют, как события, случающиеся на твоих глазах.

Хочу еще заметить, что жизнь в Чистополе в мои самые восприимчивые годы заронила во мне зерно уважения к тяжелой народной жизни. Много дала мне в этом отношении и работа в колхозах, и жизнь в старинном городе, в доме-избе с русской печью, в которой мать готовила, вспоминая свое детство в псковском селе и подучиваясь у соседней. С тех пор мне кажется, что вкуснее не ел я блюд, чем из той печи: щи, жаркое с картошкой, картошка топленая в молоке, каша с грибами и даже хлеб мать вынуждена была сама печь. Я мелко рубил поленья для печи, а мама мастерски шуровала в ней рогатым ухватом. И обогревала нас эта печь хорошо. Помню, как в свирепые морозы серый кот, доставшийся нам вместе с квартирой, ночью спал в печи! Подходим утром к печи, а он сидит там и смотрит невинно: разве мне нельзя погреться?

И еще полюбил я на всю жизнь большие реки с их высокими берегами-утесами, на Каме — желтыми, песчаными, на Волге — белыми, меловыми, и с заливными до горизонта лугами, со смолистым, отдающим нефтью запахом воды, с протяжными, гулккими гудками пароходов... Теперь уже Волга и Кама изуродованы гигантскими водохранилищами — не река и не озеро.

С фронта тем временем приходили пугающие вести о взятии немцами все новых городов и районов. Курсировали и глухие слухи о том, что солдаты массами сдаются в плен. Стал известен сталинский приказ «Ни шагу назад!», в связи с которым были введены знаменитые заградительные отряды, стрелявшие по отступавшим красноармейцам.

Помню и рассказы людей, приехавших из Москвы, о знаменитой панике там 15—17 октября 41-го года, когда группа немецких танков прорвалась на самую окраину Москвы. Жители бросились вон из города. За место в поезде или машине убивали друг друга. В то же время из подмосковных деревень в Москву приезжали крестьяне с телегами грабить оставленные квартиры. Сталин бежал из столицы в неизвестном направлении, и три дня в Москве не было советской власти.

Георгий Владимов, с которым мы тесно дружили в 50—60-е годы, писал тогда мемуарную книгу для одного из генералов, оборонявших Москву. И этот генерал (забыл его фамилию) рассказывал Владимову, как в дни октябрьской паники они вывезли своих раненых к шоссе, ведшему из Москвы, и никак не могли остановить какой-нибудь грузовик или автобус, чтобы погрузить в него раненых. Машины неслись на предельной скорости и не останавливались. Тогда генерал приказал выкатить к дороге противотанковую пушку и выстрелить по какой-нибудь машине. Выстрелили, образовался затор, поток машин остановился, и раненых разместили по машинам. Потом солдаты генерала стащили с дороги подбитую и поврежденные в столкновении машины, и паническая гонка возобновилась с новой силой.

После был сочинен миф, что немецкие танки, прорвавшиеся к Москве, были уничтожены самолетами-штурмовиками, однако участники обороны Москвы рассказывали, что у них про-

сто кончилось горючее, и танкисты ушли назад пешком. Если бы немецкие войска не «растаяли» к тому времени в безбрежных просторах России, они могли бы взять тогда Москву, что называется, голыми руками.

Приехавший из Москвы писатель Анатолий Глебов с волнением говорил отцу, что если немцы будут все-таки остановлены и удастся заключить мир (о полной победе тогда никто и не помышлял!), то все в стране должно измениться: режим оказался гнилым, и больше так жить нельзя!

Подобные высказывания я слышал от взрослых до самого конца войны. Видимо, большинство людей верило, что после войны «все должно измениться». Думаю, что эта вера многим помогала жить и воевать.

В первые два года войны все надеялись также на какой-то сепаратный мир с немцами. Зимой 41—42 годов Сталин вселил такую надежду своими сенсационными словами о том, что война продлится еще недолго, месяц-другой, ну, может быть, «полгодика-годик». После этого пошли слухи, что с немцами в Швеции ведутся тайные переговоры о сепаратном мире. Под Москвой немцы были все-таки остановлены, блицкриг не получился, и возникли основания для торга.

Весной 42-го смерть добралась и до нашего интерната. Сначала умерла от паратифа (или возвратного тифа) одна из наших девушек. Хоронили ее всем интернатом. На кладбище гроб сорвался с веревок в могилу, крышка отскочила, тело вывалилось, заголившись. Все дико закричали и ринулись от могилы. Я тоже было побежал, но откуда-то взявшееся чувство долга остановило меня, я вернулся и, сжимая свои нервы из последних сил, стараясь не смотреть на голое тело девушки, прыгнул в могилу. За мной прыгнул Хохлов, управляющий интернатом, потом еще кто-то. Вместе мы водворили труп в гроб, надвинули крышку...

Вскоре случилось и кое-что пострашнее. Наши старшие ребята, которым предстоял призыв, проходили военную подготовку в городском военкомате. Во дворе военкомата валялся трехдюймовый снаряд. Что только ни делали с ним ребята! Пытались отвинтить взрыватель, били зачем-то по нему кирпичом. Если он пустой, зачем бить, а если не пустой?!... Каждая группа занимающихся в перерывах возилась с этим снарядом, который попал в военкомат, наверное, как учебное пособие. И вот в один не прекрасный день, когда на занятиях была группа из нашего интерната и ребятам надоело возиться со снарядом, сын Василия Гроссмана от первого брака, Миша Губер, добрый, всеми любимый парень, взял снаряд на плечо и понес его к стене, где он обычно валялся. И не стал его класть на землю, а сбросил с плеча. И снаряд взорвался! У него не был вывинчен взрыватель! Мише оторвало обе ноги, и он вскоре умер от потери крови. Всего убило шестерых ребят и ранило почти всех, кто был во дворе. Опять похороны, от которых мы быстро выросли...

Уму непостижимо, как можно было привезти этот снаряд в военкомат и не обезвредить его!

В Чистополе в первую зиму 41—42 года я по воле случая познал, что это такое — ГУЛАГ.

Родители, приехав в Чистополь, получили сначала комнату в доме при школе, где жили учителя, и я перебрался к ним из литфондов-

ского интерната. Но к зиме школа была неожиданно занята под пересыльную тюрьму. Комнаты наши выходили окнами во двор — и мы стали невольными наблюдателями тюремной жизни. Видели, как эки по двое носили на палках, на плечах котлы с едой и параша, как

формировались, уходили и приходили колонны зэков, видели вблизи черные, жуткие лица этих несчастных, существ словно из какого-то другого, страшного мира, слышали омерзительную тюремную ругань и знаменитую команду: «Шаг влево, шаг вправо...»

Видел я однажды, и как надзиратель бил зэка. Посреди двора стояли трое заключенных и надзиратель. Вдруг какая-то судорога прошла по группе, и один зэк упал на грязный снег, надзиратель несколько раз ударил его сапогом. После этого два других заключенных поволокли своего товарища по двору, а надзиратель деловито пошел в другую сторону.

Запомнилась еще широкая улица в сумеречном зимнем свете и — приближающаяся широкая черная колонна зэков. Впереди — командиры на конях, по бокам колонны — солдаты в тулупах и валенках с винтовками наперевес, с собаками на поводках. Зэки — в жидких бушлатах и ботинках. Звучит команда, и колонна останавливается. Скрипят, открываются ворота — и колонна начинает втягиваться во двор, замкнутый с четырех сторон школьными домами.

Шла тяжелейшая война, каждый человек был на вес золота, а тут всякий день уходили на Восток огромные колонны живой силы, и колоннам этим, казалось, не было конца. Столько в стране было преступников, армии преступников? Все это было дико и непонятно.

Познание ГУЛАГа было для меня чрезвычайным событием. Я словно побывал в аду, и ад этот вновь, как и впечатления 37-го года, отпечатался в моем подсознании. Все другие негативные впечатления, которыми столь богата была советская жизнь, и моя в том числе, лежали потом на этот фундамент.

Мое антисоветское воспитание продолжил отец. Тоскливыми вечерами, гуляя со мной по улочкам Чистополя, изливал он душу, рассказывая о том, как «гибла революция» из-за борьбы вождей, как эта борьба помогла Сталину, серому, мелкому и злему человеку, захватить всю власть и повести дело к нынешнему «страшному финалу». Отец думал, как он потом мне признался, что я по молодости лет (мне было тогда 14) не буду глубоко воспринимать его рассказы и рассуждения. А я наоборот жадно слушал! И тогда, задолго до всякого самиздата, узнал все перипетии сталинского восхождения. Я сознавал, что отец говорит правду, и понял, каким чудовищем был Сталин, и что бесконечные колонны зэков состояли из жертв его параноидального режима. Как и разгром на фронте был следствием этого режима.

Между прочим, тогда отец поведал мне и о том, что он считает своей смертельной ошибкой, что в 23-м году, уйдя с партийной работы, не ушел и из партии. «Ума не хватило!» — казнил себя отец. Ему надо было, объяснял он, много читать, учиться, приобщаться к культуре: ведь он не имел за плечами никакого образования! Оставаясь же в партии, он вынужден был сидеть на бесконечных партсобраниях, участвовать в партийно-писательских интригах, а потом еще и в партийных чистках, предварявших 37-й год. Многие в середине 20-х годов, после смерти Ленина, чувствуя, что «дело идет не в ту сторону», рассказывал отец, выходили из партии. Тогда это еще можно было делать. Оставшись в партии, отец не смог реализовать себя по настоящему, использовать весь свой жизненный опыт.

После тех бесед, как уже упоминал, я впервые начал думать о судьбе революции, страны и читать Ленина, беря его томики из городской библиотеки. Тогда мне впервые пришла в голову мысль, что необходима какая-то новая революция, новая и по характеру. А я был в том возрасте, между 14—15 годами, когда мечты и идеи вспыхивают бурно и завладевают всем твоим существом. К счастью, ненадолго! Тогда же я твердо решил, что быть мне революционером, чтобы создать в стране человеческую жизнь и смести всю наросшую скверну. Прочел, прогло-

тил «Что делать?» Чернышевского и, следуя Рахметову, принял обет не связывать себя ничем, что может мешать революционной борьбе: женщинами, любовью, семьей и т. п. А меня, как назло, в ту пору стало тянуть к девочкам. Юбки, ножки, сапожки (тогда девушки ходили в грубых коротких сапогах, и это им очень шло!) волновали и мучили своей недоступностью. И я метался между революционным обетом и приступами чувственного умопомрачения. И революционная идея скоро потерпела полный крах в этой борьбе!

В июле 1943 года вся колония писателей из Чистополя была возвращена в Москву. Исход войны был предрешен, и Москву не бомбили. Возвращались мы на специально зафрахтованном пароходе. Это было очень приятное путешествие — Кама, Волга, Ока, река Москва. Две верхние палубы и соответствующие каюты первого и второго классов были «оккупированы» писателями и их семьями. В первом классе ехали «классики» советской литературы, во втором — все остальные, а нижняя палуба и третий класс были предоставлены народу, т. е. обычным пассажирам. Там царили теснота, мешки, грязь, вонь, плач детей — царила «немытая Россия».

На пароходе плыли не только писатели, жившие в Чистополе, но и специально приехавшие из Москвы или с фронта, чтобы помочь своим семьям с переездом. Таким образом, на пароходе собрался едва ли не весь цвет тогдашней советской литературы. Я помню Леонида Леонова, Павленко, Тренева, Вс. Иванова, Исаковского. Плыл на пароходе и Борис Пастернак, также живший во время войны в Чистополе. Читал даже у нас в интернате, на писательских посиделках, свои переводы из Шекспира. Мы, дети, сидели на полу и тоже слушали. Так вот, на пароходе Пастернак стал героем яркого эпизода.

Семья Павленко — писателя, особо приближенного к Сталину, — ехала с собакой, здоровенным, как теленок, догом. Держать собаку во время войны, да еще такую огромную, мог позволить себе, конечно же, только близкий ко двору писатель: было чем кормить! Кто читал воспоминания Надежды Мандельштам, может вспомнить это имя — Павленко. Н. Мандельштам описывает, как он, приглашенный чекистами, подсматривал в дверной глазок за допросом Осипа Мандельштама, а потом рассказывал, каким якобы жалким и трусливым выглядел Мандельштам.

Так вот, в один из прекрасных дней нашего путешествия дог Павленко наложил на палубе кучу, причем соответствующую своим габаритам. Уложил ее на самой середине. Движение фланировавших по палубе писателей остановилось. Перед кучей скопилась толпа.

— В чем дело? — напирала сзади неосведомленные.

— Безобразие! — возмущались передние. — Надо пойти за капитаном!

Но... никто не шел: каждый писатель ждал, что пойдет кто-то другой, менее великий. Из невеликих, конечно же, нашлось бы много желающих услужить, однако они робели: знали, изпод чьей собаки куча! Боялись быть неправильно понятыми: будто бы имеют какие-то претензии к хозяевам по этому поводу. Надо заметить, что членов семьи Павленко в этот момент на палубе не было.

Итак, воздух на палубе был подпорчен, да и стоять перед кучей говна, словно на митинге, было как-то нелепо. И писатели стали тихо расходиться по своим каютам и задраивать окна. Палуба опустела. Один я замешкался (дежурил по амурной части около одного окошка!) и стал свидетелем исторической сцены. Я вдруг увидел, что на палубе появился Борис Леонидович Пастернак с детским совочком и щеткой в руках. Пастернак подошел к куче и, вздыхая

и воротя нос, начал сгребать кучу на совок, потом выбросил ее за борт и удалился, покачивая головой и смешно двигая своими лошадиными челюстями.

Через несколько минут приоткрылось какое-то окно, кто-то выглянул на палубу (в каютах все же было душно, да и скучно сидеть!) — увидел, что кучи не стало, и, обрадовавшись, скрылся. Приоткрылось другое окно, третье — и писатели с достоинством стали выходить на палубу. Променад возобновился.

Впоследствии, уже взрослым, осознав всю символику этого эпизода, я шутил, что из всех писателей, «строителей коммунизма», один лишь Пастернак оказался годным для коммунистического общества, оказался настоящим коммунистом!

Предвижу вопрос, где находился мой отец во время описанного эпизода? Его не было на палубе, он в променадах не участвовал, проводил время либо сидя с мамой на скамейке, на баке, либо на верхней, служебной палубе, так как в первый же день познакомился и подружился с капитаном, представившись бывшим матросом, а потом завязал дружбу и со всем экипажем. Рассказывал им о парусном флоте и об английском океанском. Матросы слушали, открыв рот, смотрели на отца с восхищением, и ему уже ни в чем не было отказа.

За несколько дней до прибытия нашего парохода в Горький город подвергся налету немецкой авиации. Это был последний в ту войну налет на тыловой город. Бомбардировщики, как говорили, летели на Москву, но встретили там плотный заградительный огонь и, обойдя столицу, атаковали Горький. Им удалось разрушить стратегический железнодорожный мост через Волгу. На пароходе у нас шутили, что если бы мы приплыли в Горький на пару дней раньше, то мог бы погибнуть весь цвет советской литературы! Всех поразило, что за кратчайший срок был воздвигнут временный мост, опоры которого были сложены из деревянных железнодорожных шпал. Власти проявляли тогда еще немалую энергию и организованность.

Энергичной и бодрой выглядела после Чистополя и жизнь в Москве. Правда, вид столицы портили многочисленные инвалиды войны, калеки. Во всех людных местах эти горемыки, кто без руки, кто без ноги, бойко торговали папиросами и пачками «мягкого табачка». В провинции в войну почти все курили махорку. Милиция имела приказ инвалидов войны не трогать. Часто встречались в Москве и дома-калеки с отколотыми углами или проваленными крышами — следы немецких бомбардировок.

Вскоре после нашего возвращения начались бои на Курской дуге, но в Москве были уверены, что они закончатся поражением немецких войск, что и случилось. Все понимали, и немцы, видимо, тоже, что война бесповоротно проиграна Германией.

После победы под Курском советские войска на всех фронтах перешли в контрнаступление, и начались знаменитые салюты в честь освобождаемых городов. С крыш домов палили крупнокалиберные зенитные пулеметы, включались все прожектора ПВО, распускались в небе сигнальные ракеты. Пулеметы били и с крыши нашего десятиэтажного дома писателей в Лаврушинском.

Начались и массированные налеты американской авиации на Германию. Левитан своим железным голосом объявлял по радио, что сегодня ночью очередные германские города, имярек, подверглись налету тысячи (это была обычная порция) американских «летающих крепостей» Б-2. И все радовались этому.

В Москве тем временем расцветала советская мирная жизнь. Работали театры, шумели концерты, выставки, богатые дамы щеголяли нарядами, мехами. Словно уже и не лилась кровь густыми потоками на фронтах.

Осенью 43-го года я поступил в восьмой класс средней школы. Это была обыкновенная школа, расположенная поблизости от дома, но случай превратил ее в школу необычную. Дело в том, что Сталин в своем стремлении играть на шовинистических струнах сделал тогда ряд нововведений, восстанавливавших многие порядки и традиции царского времени. Допустил некоторую автономию церковной иерархии и приблизил к себе высших ее членов, разрешил им восстановить церковные учебные заведения; предпринял шаги и по восстановлению чиновного сословия, ввел для них мундиры царского образца, переименовал наркоматы в министерства. Ранее им были введены офицерские и генеральские звания в армии и царского образца погоны. А в школах, как и в царских гимназиях, было введено раздельное обучение и даже гимназическая форма.

По всей стране прямо во время учебного года начали создаваться мужские и женские школы. Школу, в которую я поступил, сделали мужской. Девочек перевели в другую школу, а к нам вместо них влили мужской контингент из расположенной неподалеку школы № 19 для правительственных детей. (Она располагалась на Софийской набережной около английского посольства.) Перевели их к нам временно — пока не была выстроена специальная мужская правительственная школа.

Правительственные детки были, конечно, ужасны: избалованы и развращены во всех отношениях. На занятия их привозили на машинах, хотя жили они рядом. В квартирах некоторых из них были маленькие кинозалы — для семьи и гостей! Отдыхали они на дачах — настоящих поместьях с садами, прудами и прислугой, расположенных, естественно, в самых лучших районах Подмосковья, закрытых для простых смертных. В их распоряжении были также и специальные дома отдыха в самых красивых местах страны.

Запомнился мне такой эпизод. Правительственные дети разговаривают между собой на тему, кто где летом будет отдыхать. Один называет дом отдыха в Крыму, другой — на Кавказе, а сын генерала Галицкого оповещает, что поедет отдыхать к отцу на фронт, в его штаб: «Там в подсобном хозяйстве штаба такие девочки у отца работают — закачаешься! У него губа не дура!».

Из всех правительственных учеников в нашем классе нормально выглядели только двое: Юрий Новиков, сын главного маршала авиации, и Сергей Аллилуев, племянник Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Аллилуев был по-настоящему симпатичным парнем, скромным, интеллигентным.

В одном из параллельных классов учился и Лен Карпинский, также перешедший к нам из правительственной школы. Его отцом был чудом уцелевший старый большевик, друг Ленина. Впоследствии мы пересекались с Леном в МГУ, но по-настоящему подружились уже после окончания холодной войны.

Большинство правительственных детей учились из рук вон плохо, даже при всяческих поблажках со стороны учителей. Между тем зимой 43—44 годов было объявлено о еще одной сталинской реформе в области образования. В стране не хватало рабочих рук, и Сталин учредил ремесленные и железнодорожные училища для подготовки рабочих кадров. В народе их называли «ручки» и «жучки». В эти училища должны были в обязательном порядке переводить учеников восьмых классов средних школ с наиболее плохой успеваемостью. Был спущен

и план: школы обязаны были поставлять ремесленным и железнодорожным училищам 10% восьмиклассников.

В один прекрасный день нам объявили, что из нашего класса несколько человек переводятся в ремесленное училище — для них это автоматически закрывало доступ к высшему образованию. Называются фамилии. Одни НЕправительственные ученики! Почти все из них были лучшими в классе по успеваемости. Я был возмущен этим решением дирекции. Особенно возмущало то, что в школе был оставлен некто Юрий Ломако, сын министра цветной металлургии, имевший почти по всем предметам двойки! Учительница истории на каждом уроке устраивала цирк, задавая ему один и тот же вопрос: «Ломако, скажи нам, пожалуйста, когда Россия освободилась от татарского ига?». И Ломако каждый раз начинал что-то мычать, исподлобья вращая по классу своими глубоко посаженными глазами, в надежде на подсказку. Он и внешне был похож на неандертальца: узкий лоб, скошенный подбородок.

Своим возмущением я делился с друзьями. И однажды раздался телефонный звонок отцу из Московского горкома партии: попросили прислать к ним сына, т. е. меня, не называя причины вызова. В горкоме меня препроводили к двум немолодым женщинам с жесткими глазами, и они начали форменный допрос: кому и что именно я говорил по поводу перевода моих товарищей по классу в ремесленное училище? Кто-то уже донес на меня! Но, видимо из-за статуса моего отца, пригласили меня не в МГБ (Министерство госбезопасности), а в горком, где две старые дуры не ленились допрашивать и запугивать пятнадцатилетнего подростка.

— Отец Юры Ломако, — говорили они мне, — заслужил перед страной, чтобы его сын продолжал учебу в школе. Ведь вот тебя тоже оставили в школе из-за уважения к заслугам твоего отца, хотя у тебя были двойки по физике и по немецкому.

Не поленились, значит, взять справку в школе насчет моей успеваемости! У меня действительно были эти двойки, но давно уже «закрытые». Очень интересовал этих дам вопрос, кому конкретно я говорил о своем недовольстве. Имена им назови! Я, конечно, сказал, что не помню.

В конце беседы партдамы заявили, что на сей раз меня, опять же из уважения к отцу, оставят в школе, но если я буду продолжать свои вредные разговоры, направленные на «компрометацию советских порядков», то меня ожидают большие неприятности.

Однако их слова, что меня оставят в школе, оказалось ложью! Через некоторое время меня таки исключили из школы, чего нельзя было сделать без санкции горкома, после того как он заинтересовался мною. Исключили якобы за недисциплинированность.

В школе ремонтировали спортзал, и спортивные снаряды рассовали по классам. В нашем классе оказались брусья. На переменах мы крутились на них. Потом директор школы запретил это развлечение, но мы игнорировали его запрещение. И однажды, когда я стоял на брусьях вверх ногами, задом к двери, в нее вошел директор. И исключил меня за это из школы! Исключил весной, в конце восьмого класса, т. е. я мог потерять год. Что, кроме всего прочего, означало возможность за-

греть в армию после окончания десятого класса.

В те времена исключение было очень серьезным и редко применявшимся наказанием. Это заносилось в личные документы, и поступить в другую школу было уже нелегко. Я тогда в среднюю школу вообще больше не вернулся. Воспользовавшись тем, что в конце войны в Москве было открыто много экстернатов при средних школах (для тех, кто из-за войны не учился в младших классах, пропустил год или два и хотел наверстать упущенное), я поступил в

один из таких экстернатов. В экстернате при желании и способностях можно было за один год пройти программу трех последних классов средней школы и получить право сдавать вступительные экзамены в вуз.

Исключение из школы было для меня, естественно, очень серьезной травмой. Но сам факт доноса не вызвал у меня ни удивления, ни возмущения, настолько это было тогда обычным делом. Вышел на холод плохо одетым — простудился! Я даже не пытался отгадать, кто на меня настучал. Удивило меня, что власти придали такое значение моим высказываниям среди ребят о частном факте несправедливости.

Однако в юности переживания быстро забываются, да и патриотизм мой, подогреваемый антифашизмом, был еще жив. И в следующем году я из-за этого своего патриотизма сам оказался в положении доносчика, попал в руки ГБ! Но об этом — в следующей главе.

Летом 44-го меня зачислили в лагерь допризывников, под Москвой. Мой год был на очереди. Двадцать седьмой уже воевал. В лагере командовали офицеры, выписанные из госпиталей. Лагерь был для них чем-то вроде реабилитационного санатория, после которого им предстояло снова идти на фронт. От этой перспективы в глазах у них не светилась радость, и они давали нам прикурить — обучали армейской морали. Пример. Сверху дан приказ накопать дерна и обложить им дорожки около палаток. Между отделениями начинается соревнование, кто быстрее закончит работу. Наш лейтенант, которого мы звали между собой «петухом» за сходство с этой птицей, велит нам дерн своровать у соседней роты, которая его накопала раньше. В момент переноса ворованого дерна откуда ни возьмись на нас кидается какой-то полковник. Вы что делаете, мать вашу так! Выскакивает наш «петух» и сходу орет на нас, обещает наряды за воровство дерна. Мы молчим. Выдавать непосредственного командира нельзя: он потом отыграется. Полковник, отшумев, уходит, мы хотим вернуть краденый дерн обратно и идти в поле за дерном «честным». «Отставить! — орет «петух». — Я вам что приказывал!» И мы продолжаем свое черное дело.

В субботу он берет несколько человек в патруль, в том числе и меня, и идет в дачный поселок. На одной из дач играет музыка, танцуют. «Сейчас мы там девочек подцепим!» — заявляет наш лейтенант. Мы заходим на участок, «петух» ломает комедию с проверкой документов. Дачники возмущены, ничего у него не выгорает, и тогда он под каким-то предлогом забирает хозяина дачи в комендатуру нашего лагеря. Вечеринка на даче сорвана.

Потом, когда уже учился в МГУ, я несколько раз бывал на военных сборах офицеров запаса. Нас приписали к зенитной артиллерии. И там я убедился, что существует резкое отличие строевых офицеров от «технарей». Первые чаще всего были людьми весьма низкого морального уровня, а среди «технарей» преобладали хорошие мужики — умные, добрые, порядочные. Вот так вот. Похоже на разницу между гуманитарной интеллигенцией и научно-технической.

Запомнился день Победы. Я оказался тогда на Манежной площади, которая, как и весь центр, была запружена ликующим народом. Люди обнимались, выпивали, но и без вина все были пьяны от счастья. На Манежной площади находилось и посольство США, в доме с колоннами рядом с гостиницей «Националь». Американцы разъезжали в то время в основном на открытых «виллисах», и их вынимали из машин, обнимали, поили водкой.

Окончание войны связано у меня в памяти и с двумя дерзко циничными высказываниями Сталина, воистину достойными этого великого злодея. На торжественном банкете в Кремле

по случаю победы Сталин произнес длинный и пышный тост в честь русского народа. Тост состоял из ряда спичей, каждый из которых заканчивался рефреном: «Спасибо ему, русскому народу...». Сталин страсть как любил подобные рефрены!

И центральным был спич следующего содержания (цитирую по памяти): *«Советское правительство совершило много ошибок. Любой другой народ мог бы сказать нам: уходите! Но русский народ проявил исключительное терпение и доверие. Спасибо ему, русскому народу, за это его терпение и доверие!»*.

Многие были тогда ошарашены и не знали, как эти слова понимать. О каких ошибках идет речь? Разве могли быть у «советского правительства» ошибки?! И как бы это мог народ в СССР сказать правительству Сталина — «уходите»?! Ну и главное, конечно, это почти издевательские в контексте слова о терпении. Все равно, что помещик поблагодарил бы своих дворовых, которых он что ни день приказывал драть на конюшне, за терпение и доверие. Чего-чего, а такого терпения нашему народу действительно не занимать, но говорить об этом вслух и вождю? Пятьдесят восьмую статью запросто могли припаять, скажи подобное простой смертный!

Второе высказывание имело место после взятия советскими войсками осенью 45-го Порт-Артура и Дальнего в Маньчжурии, портовых городов и бывших опорных баз русского империализма до его поражения в войне с японским империализмом в 1905 году.

— Мы, люди старшего поколения, — сказал «коммунист» Сталин, — 40 лет ждали этого дня!

Потом Мао Цзедун после долгой торговли в Москве добился от Сталина вывода советских войск из этих городов.

Сталин, нацизм и Вторая мировая война

В Чистополе отец много рассказывал мне о роли Сталина в становлении нацизма в Германии. Как я уже упоминал, отцу посчастливилось почти два года прожить в Германии в начале 30-х годов и многое там увидеть.

Из его рассказов вырисовалась удивительная картина. С 29-го года стал нарастать страшный мировой кризис, и с этого же времени началась сумасшедшая сталинская индустриализация. Сталин обдирал до нитки крестьян в только что созданных для этого колхозах, продавал хлеб за границу и на вырученные деньги закупал в Германии оборудование для строящихся заводов у индустриальных картелей Круппа, Тиссена, Флика и т. д., и эти закупки помогали им держаться на плаву. Немецкие картели часть этих денег затем переправляли в партийную кассу Гитлера. Хозяева картелей надеялись, что Гитлер поможет им избежать революции, переведа недовольство народа на внутренних и внешних врагов.

В связи с индустриализацией по просьбе Сталина в Германии в большом количестве вербовали для работы в СССР квалифицированных немецких рабочих и инженеров, как правило, членов немецкой компартии, потерявших работу из-за кризиса. Таким образом Сталин закупками оборудования и приглашением на работу немецких безработных смягчал социально-экономическую напряженность в Германии и уменьшал шансы немецких коммунистов.

Мало того, отец рассказывал, что немецкие рабочие возвращались из Советского Союза разочарованными в социализме и переставали поддерживать свою компартию! Многие из них переходили к нацио-нал-социалистам.

— Что у вас там происходит? — терзали отца немецкие коммунисты. — Почему почти все наши рабочие, возвращаясь из России, отворачиваются от нас?

И это при том, подчеркивал отец, что в СССР им создавались особые, улучшенные условия, по сравнению с теми, в которых жили советские рабочие. Но немцы (отец разговаривал с некоторыми из них и в Германии, и в СССР) возмущались именно тем, в каких условиях находились русские рабочие и как их нещадно эксплуатировали.

Вот так сказывалась сталинская «сверхиндустриализация» (определение Троцкого) на судьбе Германии, а затем и России.

Кроме того отец рассказал мне (чего тогда тоже не знал никто из рядовых граждан), что Сталин через Коминтерн добился запрещения немецким коммунистам объединяться с социал-демократами для борьбы с нацистами Гитлера, чем помог последним прийти к власти.

Узнал я от отца и о том, что Сталин разместил под Казанью немецкий генеральный штаб, существование которого было запрещено Версальским мирным договором 1918 года.

С тех пор я стал интересоваться этой темой и размышлять о результатах политики Сталина в отношении нацизма. И позже понял, что Сталин помог Гитлеру и Муссолини развязать мировую войну.

Помощь эта состояла прежде всего в том, что Сталин способствовал победе фашистов в гражданской войне в Испании в 1937—1938 годах. В разгар той войны он фактически предал республиканскую Испанию, прекратив военную помощь республиканцам и оставив их беззащитными перед интервенцией Германии и Италии, особенно перед немецкой авиацией, оказавшей решающую поддержку войскам Франко. О чем он думал при этом, неинтересно гадать. Главное, что победа соединенных сил фашизма в Испании вдохновила их начать вскоре мировую войну. Они уверились в собственной силе.

Сталин помог Германии подготовиться к войне и размещением в СССР немецкого генштаба.

Преступлением было, конечно, и заключение Сталиным фактического союза с Германией в 1939 году. Это ложь, что Германия без заключения пакта Риббентропа — Молотова напала бы на СССР, не имея с ним границы, и с Англией и Францией за спиной! Фактом является то, что пакт этот позволил Гитлеру устранить Францию из борьбы, лишить Англию плацдарма в Европе, выдвинуться на границу с СССР, нарастить боевой опыт и, что еще важнее, укрепить победный дух в немецкой армии, разжечь шовинистический психоз в народе. После войны на экраны вышла замечательная документальная лента Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Там были потрясающие кадры присяги Гитлеру военных медсестер, плачущих от счастья лицемерить своего возлюбленного фюрера и дотрагиваться до его рук.

Сталин же никак не смог использовать в свою пользу отсрочку, полученную благодаря пакту с Гитлером. Наоборот, ухудшил положение: передвинув границу на Запад, увел войска с укреплений, созданных на старой границе, а на новой создать их не успел; начал модернизацию вооружений и не успел ее закончить, и самое главное, уступил инициативу Гитлеру, что в любой борьбе очень много значит. Да и деморализовал народ. То фашисты были главными врагами, потом стали главными друзьями, и вновь — врагами!

Но почему же Германия все-таки проиграла войну? Я считаю постыдным тот факт, что мало кто в России решается додумать до конца ответ на этот вопрос.

Грубо разделяя, одни в России считают главной причиной поражения Германии героизм русского народа, а другие сюда еще прибавляют твердую руку Сталина, порядок и дисциплину, наведенные им якобы в стране, иными словами, преимущества тоталитарного режима.

Писатель Даниил Гранин, выступая по случаю дня Победы (в 2001 году), сказал, что все объективные обстоятельства были в пользу Германии, немецкие войска, казалось бы, не могли не победить, но победила Россия!

Так вот, на мой взгляд, все обстояло прямо наоборот. По всем объективным условиям у Германии не было никаких шансов на победу, а были все шансы на поражение, причем быстрое и сокрушительное. Германия имела накануне войны население в 60 миллионов человек, максимум 80 с союзниками. Советский Союз — 180 миллионов, плюс гигантская территория и богатейшие природные ресурсы. К моменту нападения на СССР Германия оккупировала почти всю Европу и везде должна была держать свои гарнизоны, а на атлантическом побережье — специальный заслон против недобитых англичан и собирающихся им на помощь американцев. Для этого немцам потребовалось очень много войск, приблизительно половина всей армии! Огромное количество солдат оставалось у них и на оккупированной ими территории России.

Когда Наполеон в 1812 году вступил в Россию, у него было более 500 тысяч солдат, а к Бородину он смог привести только 120 тысяч. Почти 400 тысяч пришлось Наполеону оставить для охраны тыла. И это при том, что двигалась его армия по одной дороге, не по широкой территории, и почти без боев и потерь. И коммуникации тогда, отметим, не имели столь большого значения, как в XX веке: не надо было везти к фронту горючее и огромное количество боеприпасов, не приходилось бояться авиации, диверсионных десантов и танковых ударов с флангов. Немцы же наступали на огромном фронте, от Карелии до Черного моря, и оставляли для охраны тыла значительно больше войск. Генерал, над мемуарами которого трудился Георгий Владимов, поведал ему, что у него под Москвой осенью 41-го было около 10 солдат на километр фронта. (Точной цифры я не помню.) На вопрос Владимова, как же он смог остановить немцев, генерал ответил, что у немцев оставался один солдат на километр!

Плюс к этому разбитые российские дороги и суровый климат с долгой распутицей и снежной зимой, лишавшей немцев возможности использовать свое преимущество в моторизованной технике для быстрой перегруппировки войск. Поэтому и наступали они только в летнее время.

Почему же тогда немцы сумели нанести в 41-м сокрушительное поражение Красной армии и захватить половину европейской территории Советского Союза, на которой располагалась примерно половина всей его индустрии, ради создания которой Сталин вгонял в гроб миллионы людей?

Ответ казенного патриотизма — причина, мол, была в неожиданном и «вероломном» нападении, смехотворен и не заслуживает внимания. То, что немцы с ранней весны 41-го начали стягивать войска к границе с СССР и даже в Финляндии высадили экспедиционный корпус, было хорошо видно всем политикам мира.

Истинный и очевидный ответ состоит в том, что поражение было следствием гнилости сталинского диктаторского режима. Военачальники и все чиновники были парализованы страхом ответственности перед Сталиным. О силе этого страха говорит знаменитый факт, что немцы в районе Львова, начав утром 21-го июня артподготовку, так и не дождались ответа советской артиллерии. Советские военачальники ждали приказа из Москвы.

Еще более важным было то обстоятельство, что в 1937—1938 годах «сильная рука» Сталина вырубилла более 70% высшего и среднего командного состава, в том числе самых талантливых командиров, у которых немцы учились, работая бок о бок с ними в своем генеральном штабе на советской территории. Маршал Тухачевский был ликвидирован Сталиным, как известно, по провокационному доносу из гестапо, подброшенному Сталину через президента Чехословакии Бенеша, который не знал, что компромат на Тухачевского был сфабрикован в Германии. Согласно этому компромату, Тухачевский якобы участвовал в подготовке свержения Сталина. Гестапо знало через своих «казанских» генштабистов, кого надо убирать! На Ворошилова, Тимошенко, Буденного они доносов не делали! И у Сталина хватило ума поставить их в 41-м во главе армии.

Но, наверное, самая важная причина поражения Красной армии в 41-м году, которую тяжелее всего признавать квасным патриотам, состояла в том, что у огромных масс населения Советского Союза не было желания воевать за режим, принесший им множество страданий и унижений. Неоспоримое тому доказательство — три миллиона девятьсот тысяч солдат и офицеров, сдавшихся в плен за первые полгода войны¹. Такого не знала история, если не залезать в седую древность!

Не менее яркое свидетельство нежелания многих советских людей воевать — учреждение летом 41-го заградительных отрядов, которые должны были стрелять в отступающих солдат. Факт столь же уникальный, как и массовая сдача в плен. По данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, заградительными отрядами и «смершами» было убито около миллиона солдат и командиров Красной армии! Вдумаемся в эту цифру.

Очень плохо известен и тот факт, что накануне войны нарком обороны маршал Тимошенко издал приказ (безусловно согласованный с Кремлем), повелевавший офицерам применять «физическое воздействие» к солдатам, не выполняющим указаний офицеров, т. е. бить солдат по лицу. В случае же дальнейшего неповиновения офицерам разрешалось применять оружие. Комментарии тут, что называется, излишни. В результате в начале войны было множество случаев, когда рядовые во время боя стреляли в спину ненавистным офицерам! Знали мы во время войны и о том, что сельское население часто встречало немецкие войска цветами и хлебом с солью. Особенно на Украине и на юге России, где в 32-м году Сталин организовал жестокий голод, унесший миллионы жизней.

Мне запомнилась корреспонденция с фронта в «Правде» летом 41-го. Группа советских разведчиков подошла к украинской деревне, не зная, есть ли в ней немцы. Разведчики выбрали на окраине избу победнее (!) и зашли в нее. Там они застали пожилую колхозницу, которая сказала, что немцев в селе и в окрестностях нет. Разведчики решили отдохнуть в избе до ночи. Хозяйка тем временем затопила печь. Но один бдительный разведчик заметил, что из трубы повалил густой, черный дым. То ли дрова были сырые, то ли хозяйка что-то такое подбросила в огонь. Разведчикам это показалось подозрительным, и они на всякий случай ушли из избы и залегли на опушке леса. И вскоре увидели, как к избе на мотоциклах примчались немцы и окружили ее. Хозяйка была предательницей — сговорилась с оккупантами!

Только во второй половине войны у широких слоев народа появилось стремление драться и победить немцев, появилось ожесточение против них. Сказались тут как расистская жесто-

¹Последнюю публикацию этих данных см.: Бакланов Г. День скорби//Московские новости.2000. 19 июля.

кость гитлеровцев, так и желание скорее покончить с войной. Для солдат и офицеров советской армии, живших до войны на оккупированных территориях, победа над немцами открыла вала и возможность долгожданного возвращения домой, к своим близким.

Национал-патриотам я хочу здесь напомнить, что того же мнения о главной причине разгрома в 41-м придерживается и их кумир Александр Солженицын. В своей речи перед активом профсоюзов АФТ-КПП в Вашингтоне 30 июня 1975 года он, в частности, сказал: «За первые три месяца в плен сдалось три миллиона российских солдат! Такого не было за тысячелетие русской истории, не было и в мировой истории. И это яркое свидетельство того, что русский народ не хотел защищать коммунизм».

Вернусь к вопросу о гнилости сталинского режима. Интересная деталь. Большинство наших историков до сих пор считают переломным моментом войны поражение немцев под Сталинградом зимой 1942—1943 годов, а немецкие — поражение под Москвой зимой 1941-го года. Почему такое расхождение? Потому что немцы понимали, только успех блицкрига давал им шанс на победу. Одолеть огромную страну в длительной войне у Германии, распылившей свои силы по всей Европе, не было никаких шансов. И немецкие военные после поражения под Москвой ожидали, что русские, оправившись за зиму и используя начавшую поступать американо-английскую помощь, перейдут весной 42-го года в победоносное контрнаступление. Но гнилой сталинский режим не сумел воспользоваться зимней передышкой. Попытка контрнаступления советской армии весной 42-го на харьковском направлении провалилась, советские войска вновь попали в окружение, были разгромлены, и немецкое наступление возобновилось. Война затянулась еще надолго. Однако ее исход был предрешен поражением немцев под Москвой осенью 41-го года. Российские историки не хотят этого признавать, чтобы не признавать и гнилости сталинского режима. Ностальгия по Сталину давно уже гложет «патриотическую» интеллигенцию.

Никто почти не говорит у нас и о том, что второй причиной успеха Красной армии под Москвой (первая — распыление немецких войск по Европе и России) было то, что американцы оттянули на себя Японию, и она не смогла напасть на СССР. Решающую роль под Москвой, как известно, сыграли дивизии, переброшенные с Дальнего Востока и из Восточной Сибири, когда стало известно, что Япония в нарушение своего договора с Германией не намерена открыть второй фронт против СССР. Япония, поняв, что Америка готовится к войне с ней, решила нанести ей упреждающий удар — уничтожить большую часть военного флота США в Перл-Харборе. Воевать на два фронта для Японии было совершенно невысказано.

До сих пор приуменьшаются размеры и значение военно-технической и продовольственной помощи союзников. Без этой помощи Советский Союз просто не смог бы воевать.

Советская пропаганда внедрила в сознание россиян, что второй фронт был открыт союзниками с большим опозданием. Это отчасти верно, но не говорится о причине: США были связаны войной с Японией и высадиться в Нормандии смогли лишь после того, как одержали решительную победу на японском фронте.

Большую роль в ослаблении германской военной машины сыграли и мощные бомбардировки немецких городов, проводимые англо-американской авиацией. Кроме всего прочего, они сорвали развертывание немецкой ракетной программы. И, как я уже упоминал, эти бомбардировки воспринимались в Советском Союзе с радостью и одобрением.

Тут я отвлекусь и переброшу мостик в современность. Какая истерия осуждения США и НАТО разразилась в стране, когда они вели бомбардировку Сербии с целью защитить косова-

ров от сербских фашистов. Но ведь сербские войска действовали по отношению к косоварам, как ранее и против боснийцев, никак не мягче, чем немецкие войска по отношению к населению СССР!

7 миллионов и 25

Подводя итоги, надо вспомнить о цифрах потерь. Германия, проиграв войну, которая длилась для нее 6 лет и шла на трех фронтах, потеряла немногим более 7 миллионов человек. 5,3 миллиона на фронтах, из коих 2,7 миллиона (51,6%) на Восточном фронте и около 2 миллионов — в тылу.¹

Россия же, победив в войне, за 4 года потеряла до 25 миллионов. Цифры известны у нас всем, но мало кто задумывается, о чем они говорят. Более того, чудовищная, позорная для страны цифра в 25 миллионов превращена в предмет национальной гордости: вот, мол, какие жертвы мы принесли в борьбе с фашизмом, «главный удар на себя приняли, цивилизацию спасли, все в долгу перед нами» и т. д.

В средствах массовой информации никогда не дифференцируют цифру 25 миллионов, не указывают, какая часть потерь фронтовая, какая — гражданского населения, и от чего (от чего) погибли люди. Попробуем разобраться.

Прежде всего отмечу, что цифры потерь, публикуемые в России, до сих пор не вызывают доверия. В советское время их явно фальсифицировали, а сейчас по-прежнему боятся приводить правдивые цифры, так как все, что относится к «великой победе», не должно подвергаться какому-либо критическому анализу. Нынешние власти продолжают играть в патриотизм и на патриотизме.

В специальной российской литературе встречаются цифры фронтовых потерь — то 8,7 миллиона человек, то 10 миллионов. Цифры эти огромны по сравнению с немецкими потерями на Восточном фронте (2,7 миллиона!). Правда, в России на стороне немцев воевали и их союзники: финны, итальянцы, испанцы, румыны. Но суммарная численность их войск на Восточном фронте была очень мала, и поэтому их потери мало влияют на общую картину.

Львиная доля потерь Красной армии приходится на первые месяцы войны, и цифра тех потерь, видимо, держится до сих пор в секрете, но о ней можно судить по числу попавших в плен в тот период (около 4 миллионов). Эта цифра известна потому, что была получена на основе данных немецких архивов.

О причине таких потерь мы уже говорили: ликвидация Сталиным накануне войны более 70% высшего и среднего командного состава и нежелание значительного числа красноармейцев защищать зверский сталинский режим. Однако и в последующие периоды войны жертвы советских войск были очень велики. Советские солдаты массами гибли уже из-за того, что ко-

¹Эти цифры являются на Западе энциклопедическими. В российской прессе последнюю их публикацию см. в «Общей газете» за 21-27 июля 2001 г. («Убойный блицкриг на Востоке»), в которой автор ссылается на последнюю работу немецкого историка Р.Оверманса «Немецкие военные потери во Второй мировой войне.» Потери мирного населения не имеют точного учета даже в Германии и оцениваются приблизительно.

мандование не щадило их в стремлении отличиться перед Сталиным. Чего стоит один лишь штурм Берлина, когда ради того чтобы первыми и целиком занять его, советское командование во главе с героем всех «патриотов» Жуковым уложило (по неофициальным данным) около 300 тысяч своих солдат и офицеров! Так что виновником колоссальных фронтовых потерь советских войск является главным образом сталинский режим.

Еще более чудовищны потери среди мирного населения: 15 миллионов минимум, если взять максимальную цифру фронтовых потерь в 10 миллионов, и 17 миллионов — при фронтовых потерях в 8 миллионов. Как могли появиться такие цифры? Советские города немцы не бомбили так, как американцы — немецкие. Почти все крупные города в Германии были превращены американской авиацией в руины.

Немецкая же авиация была неизмеримо слабее американской и по количеству самолетов, и по тоннажу, по бомбовой грузоподъемности. Да и не было у немцев необходимости серьезно бомбить советские города: они, как правило, очень быстро оставались Красной армией. Из крупных городов исключение — Ленинград и Сталинград. Но из Сталинграда население ушло перед боями и в начале их, а из Ленинграда большая часть населения успела эвакуироваться. Быстро сдавались потом советские города и немцами при их отступлении.

Села часто разрушались во время боев, если через них проходила линия фронта, но большая часть жителей либо уходила в тыл, либо рассеивались по окрестностям, да и всего-то в селах европейской части СССР проживало не более 20% населения.

Известно, что нацисты уничтожили около 2 миллионов советских евреев, не успевших эвакуироваться из западных областей европейской части СССР. (Я беру максимальную цифру из приводимых.) Отнимем из 15 миллионов 2, останется 13 — все равно непомерно большая цифра по сравнению с немецкими потерями мирного населения. Эпидемий ни на оккупированных землях, ни на остальных не было. Голода повального — также. Люди жили с огородов.

Очевидно, в цифру военных потерь населения занесены жертвы режима. Это и люди, погибшие при депортации народов. К жертвам войны причислили наверняка и жертвы сосланных народов (финнов из Карелии, прибалтов, русских и украинских немцев, крымских татар, кавказцев). Это миллионные потери! Вероятно, на войну списали и вообще эков всех категорий, погибших в лагерях за годы войны. Так вот, видимо, и набралась колоссальная цифра потерь среди населения в 10–12 миллионов (за вычетом 2 миллионов советских евреев, погибших в нацистских лагерях смерти). И нынешние власти не ставят эту цифру под сомнение.

Так что колоссальные жертвы, понесенные советским народом на фронте и в тылу, в большей своей части были прямыми или косвенными жертвами сталинского режима и отнюдь не могут составлять предмета национальной гордости. И позорен тот факт, что природа этих жертв до сих пор скрывается властями России.

Стоит за этим и вопрос, не нанесла ли гибель во время войны миллионов молодых и здоровых людей, а до того в ходе сталинских репрессий еще и десятков миллионов самых, как правило, социально и творчески активных граждан невосполнимого урона генофонду народа? И не является ли это глубинной причиной уродливого развития страны, которое стало особенно зримым в последние 10–15 лет? Наука еще не может дать на это ответ? Или боится?

И еще раз подчеркну, страшен своим эгоцентризмом главный пропагандистский постулат Кремля, старого и нынешнего, что Россия спасла мир от «коричневой чумы», приняв на себя главный удар и понеся самые большие жертвы.

О природе этих жертв мы уже говорили, а что касается главного удара, то его приняли на себя и англичане с французами в 1940 году, когда сталинская Россия потирала руки за спиной у Германии и Италии. Критическим моментом Второй мировой была не только битва за Сталинград в 43-м, но и сражение за Британию в 40-м. Страшно и представить себе, что было бы с Россией, если бы немцам удалось в тот год захватить Британские острова. А американцы приняли на себя удар мощнейшей японской военной машины и этим также спасли Россию и весь антифашистский мир.

Ну и не надо забывать, что победа Советского Союза означала замену на половине европейской территории гитлеровского фашизма сталинским, не менее людоедским. И опять же США и Англия сыграли решающую роль в победе и над этим видом фашизма в долгой «холодной войне».

В заключение темы коснусь философско-психологического аспекта. Люди в России очень часто не понимают, что в жизни есть такие опасности, от которых нельзя предохраниться на все сто процентов, не понимают, что добиваясь стопроцентной защиты, можно погубить то, что хочешь защитить. Наверняка защитить птичку от кошки можно, лишь превратив птичку в чучело!

Ради подготовки к войне Сталин максимально форсировал создание военной индустрии, задавил и НЭП, и кооперативную коллективизацию, заменив ее крепостными колхозными хозяйствами, обрек часть крестьянства на голод — ради того, чтобы быстрее и больше строить военных заводов. Ради этого же ликвидировал внутрипартийную демократию, создал себе железобетонную «властную вертикаль», проводил чистку потенциальных оппозиционеров — «врагов народа», в том числе и среди командного состава армии. В результате у множества людей пропало желание пользоваться изготовленным оружием, и Советский Союз потерял в первые два-три месяца войны половину созданной индустрии, половину европейской части страны и т. д.

С оставшейся половиной (и с помощью союзников) удалось в конце концов выиграть войну. И если бы Сталин в два раза меньше строил военных заводов, ему не нужны были бы драконовские меры для проведения форсированной индустриализации, у людей не пропало бы желание защищать страну, и он мог бы добиться победы без разгрома в 41-м, без колоссальных потерь.

Однако правящий класс не понял этой диалектики, и после смерти Сталина продолжал политику форсированного вооружения. И эта политика была еще более параноидальной, так как Советской России уже никто не угрожал. Например, до 60-х годов, до полета Гагарина, в стране не было средств доставки ядерного оружия в Америку, а США при желании могли бы поразить СССР, обладая подавляющим превосходством в военной авиации, базами вблизи советских границ и большим авианосным флотом. Но американцы не пользовались своим превосходством даже для шантажа. Страны с современной, весьма уже развитой демократией не способны к агрессии. Они только пытались сдерживать агрессию Советского Союза. Как то было, к примеру, в Южной Корее и Южном Вьетнаме.

Стремление вооружаться по максимуму, обрекая народ на нищенское прозябание и гибель, сохранилось у российских правящих кругов и до сего дня. Был построен, к примеру, сверхдорогой крейсер «Петр Великий», разработаны и построены новые стратегические ракеты, но не было создано средств спасения морских судов. На это денег уже не осталось. В ре-

зультате российские водолазы, не имея современного оборудования, не смогли даже проникнуть в «Курск»! И весь его подъем был осуществлен водолазами Норвегии и Бельгии с помощью своих технических средств и кораблей.

Рассказ о войне получился очень обширным. Но что поделаешь, это была целая эпоха, а не обычные четыре года. Сказался эффект уплотнения времени за счет изобилия событий, переживаний, потрясений.